

КОГДА бы вы ни пришли на Красную площадь, в праздник или в обычный будничный день, вы почти всегда услышите на ней разноречивый говор людей, приехавших со всех концов света. Есть среди них, разумеется, и такие путешественники, что во всех столицах мира не видят никого, кроме себя, увековеченных при помощи «Кодака» на фоне Эйфелевой башни или знаменитого большевистского Кремля.

Думается, однако, что даже самые заядлые любители подобного рода автопортретов осознают, что они находятся на площади, ставшей предметом напряженных размышлений, поисков, надежд, мечтаний, споров современного человечества.

Большинство из тех, кто приходит сюда, отлично понимает: это площадь, на которой выступал Ленин, площадь, на которой его можно увидеть и сейчас. Площадь, на которой однажды теплой апрельской ночью, глубоко задумавшись, стоял возле Мавзолея улыбающийся русский парень, что готовился, вопреки закону земного притяжения, взлететь в космические просторы Вселенной.

«...По всем площадям мира Проходит Красная площадь — Со знаменами и без знамен, С песней или без песни, Но по всем площадям мира...».

Я БЫЛ на многих площадях мира и видел это знаменательное шествие, о котором писал Хикмет. — шествие Красной площади по городам, странам и сердцам людей. Один из наших праздников я встречал на острове Кипр в пронизанной хмельным ароматом цветущих апельсиновых рощ Фамагусте, где над сиреневым морем высится замок Отелло, прославленный Шекспиром. Ничто здесь, казалось, не напоминало Москву, и вдруг по улице двинулся молодой дес. Его несли колонны демонстрантов, плакаты провозглашали солидарность с Алжиром и Кубой. В разливе песен вспыхивали знакомые московские мотивы. И хотя, кроме рук находившихся в то время здесь молодых московских певцов и танцоров, никакой «руки Москвы» обнаружить в этом шествии было

невозможно, я тотчас же почувствовал дыхание Красной площади на улицах древней Фамагусты...

В городе Лимасоле, на спектакле театра, приехавшего из Афин, ко мне за кулисами подошла старая греческая актриса. Она знала, что, в отличие от Кипра, в ее стране открытое проявление дружеских чувств к русским не очень поощряется государством, убивающим в стенах своих собственных национальных героев за их верность идеям свободы и

ровского мемориального театра. В тот вечер в словенском нарисованном черной тушью на белой бумаге Стретфорде на Эйвоне мы видели ее в «Троиле и Крессиде» — редко идущей на сцене шекспировской трагедии, которую молодой руководитель театра Питер Холл сумел превратить в жгуче современный, антивоенный спектакль.

«...Москва — небо артистов, Мекка новых театральных идей и свершений», — говорил мне старый индийский режиссер Бхатачария,

том, как рождается в Италии киносценарий. Герой пьесы талантливый сценарист Антонио задумал рассказать на экране трагическую историю — как измученный нищетой и безработицей человек решил продать свой глаз для того, чтобы семья его не умерла с голоду. Узнав об этом, продюсер и цензор не оставляют ни на минуту сценариста, они кричат на него, запугивают, соблазняют, шепчут на ухо сотни других, благополучных, «розовых» вариантов. Антонио затыкает

матурга и нашего друга Шо-на О'Кейси.

«Я очень плохо вижу, — писал нам О'Кейси, — и это письмо почти целиком написано «слепым методом», так что не обращайтесь внимания на ошибки...».

Подобно шекспировскому Глостеру, теряя зрение, он стал лучше видеть. Он писал нам о законах театра его родных островов, где «предметом поклонения является не бог, не человек, не театр, а только деньги. Здесь все театры, кроме нескольких, не сложив-

но прячется в щели, пока его не убивают. В одной из пьес Эжена Йонеско население целого города превращается в носорогов, и герою пьесы предстоит проявить немалое мужество, чтобы остаться человеком, что так старомодно по нынешним временам. Йонеско сказал больше, чем хотел. «В мире бронированных носорогов гибнет человек», — как бы доносится к нам со сцены.

НЕТ, мы не станем отказываться от моральной этической, нравственной чистоты и силы нашего искусства. Мы не изменим человеку, мы не променяем его ни на какие соблазны ультрамодной формы. Именно потому, что наши литература, театр и кинематограф показали миру величие новых характеров социалистической России, показали рожденного революцией «человека для людей», «человека для всех», что так непостижимо для мира, где «мое», «для меня», «для себя» является краеугольным камнем бытия, — именно потому, что искусство наше в лучших его творениях исполнено глубочайшей человечности и крылатой силы политической, философской мысли, они и привлекают к себе, как магнит, сердца людей.

Новый человек идет по Красной площади, по земле нашей, и мир хочет понять этого человека, заглянуть в его душу, в его дела, в его глаза...

Да, мы «завербованы» на всю жизнь Красной площадью, завербованы Лениным, завербованы заветным желанием увидеть человечество единой счастливой семьей народов, подготовить время, когда человек всегда и во всем будет достоин своего великого имени — Человек.

В. КОМИССАРЖЕВСКИЙ

ЧЕЛОВЕК ИДЕТ ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

демократии, и все-таки она подошла. «Передайте тем, кому вы вернетесь, — сказала она очень тихо и внятно, — много поцелуев от греческих актеров».

ЧЕЛОВЕК многое воспринимает в жизни под углом зрения своей профессии. Я режиссер и буду говорить о людях и явлениях театра и кинематографа.

...Нью-Йорк. В маленьком внебродвейском «театре четвертой улицы» мы смотрим генеральную репетицию чеховских «Трех сестер». Есть нечто по-особому волнующее в том, как в это утро в Нью-Йорке звучали со сцены знакомые имена любимых героев Чехова. Как пароль дружбы, как призыв к пониманию.

После репетиции мы долго беседуем с американскими коллегами, охотно раскрывая им все «секреты», связанные с тем, как Чехов ставится в Москве в Художественном театре. Потом встает режиссер спектакля Дэвид Росс:

— Что Вам сказать о наших чувствах и наших желаниях, — говорит он, торжественно подняв руку, слово хочет произнести слова клятвы: «В Москву, в Москву, в Москву!» — скандирует он знаменитый рефрен трех сестер.

«В Москву, в Москву, в Москву!» — повторяет слова своей любимой роли чудесная английская актриса Дороти Тьютен, которую мы видели и полюбили во время гастролей в Москве Шекспи-

Он был глубоко религиозным человеком и верил, что, согласно древней индийской религии, после смерти жизнь его будет продолжаться в какой-то иной, неведомой форме существования... «Я буду молить богов, — сказал он вполне серьезно, — чтобы в моем следующем воплощении мне выпало счастье родиться в России»...

ДРУЖБА не исключает дискуссию. Наши встречи с зарубежными коллегами нередко сопряжены с жаркими и порой непримиримыми спорами. И это понятно: борьба идей не терпит компромиссов.

Во время недавнего Всеевропейского симпозиума писателей, посвященного судьбам современного романа, в дни третьего Международного кинофестиваля в Москве наши зарубежные коллеги нередко бросали нам обвинения в «завербованности» советской литературы, театра и кино. То, что наши книги, спектакли и фильмы отстаивали определенные идеи, вторгались в область политики и социального анализа, казалось им признаком «несвободы», «завербованности». Странно, что об этом немало говорили наши итальянские друзья... Они-то знают и цену идеям, и цену «свободы», в условиях которой им приходится драться за свои прогрессивные ленты.

У знаменитого «отца итальянского неореализма» Чезаре Дзаваттини есть пьеса, в которой он рассказывает о

уши. «Если я буду вас слушать, то все пропало. Вы, как термиты», — в отчаянии бормочет он своим надсмотрщикам. Но те не отступают. Проводя Антонио по всем кругам «дантова ада», они заставляют его в конце концов отказаться от своего правдивого замысла и создать лживый цветной фильм о трогательной дружбе богача и нищего.

Московское телевидение недавно показало горькую и умную телепесню Пристли «Теперь пусть уходит». Я не знаю, кем «завербован» мистер Пристли, но его песня — отличный ответ ревнителям идеи свободы искусства в буржуазном мире. Старый английский художник Саймон Кендл, картины которого висят во всех галереях мира, бежит от своей славы и богатства и умирает, как Толстой, на небольшом железнодорожном полустанке, проклиная мир, в котором он прожил всю жизнь.

Министры искали его дружбы, коллекционеры платили сотни тысяч за его картины, у него было все, кроме свободы. «Для них я не человек, а собственность», — говорит он перед смертью.

НУ, хорошо — это пьеса, а жизнь? Может быть, в жизни это не так или не совсем так? Передо мной потрясающее письмо, которое мы получили недавно в театральной секции Союза советских обществ дружбы от патриарха английского театра, всемирно известного дра-

ших оружия, являются собственностью тех, кто выбирает такие пьесы, которые, по их мнению, принесут им большие счета в банке. Есть также горсточка «художественных» театров, которые важности ради щеголяют на шатких ходулях и проявляют интерес только к смерти, болезням, убийствам и жестокости, полагая, что эти «грехи» являются неотъемлемой принадлежностью рода человеческого, превращают мир в трясины, заполненную пресмыкающимися... Капитализм становится с каждым годом все более безумным, его затрудненное дыхание сменилось удушьем, и мы попадаем из одного тупика в другой».

Нам говорят некоторые наши друзья-оппоненты: «Ваши книги, спектакли и фильмы слишком моральны». Но, дорогие друзья, вы же сами с горечью и отчаянием говорите о «дегуманизации», «дегероизации» вашего искусства, о том, как из романа исчезает человек, о том, как антигерои заполняют антипьесы.

В одном из рассказов Кафки человек превращается в насекомое, которое судорож-